

Рецензия на книгу:

Махновец Т. А. Концепция мира и человека в зарубежном творчестве И. С. Шмелева: Монография / Марийский гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2004. 146 с.

Библиография работ о творчестве замечательного русского писателя XX в. Ивана Сергеевича Шмелева небогата обобщающими трудами. Немалую роль в этом, конечно, сыграло то обстоятельство, что на протяжении десятилетий представления значительной части русских читателей о художественном мире этого признанного мастера были уродливо деформированы, ибо ограничивались его дореволюционными произведениями. Ныне увидело свет многотомное собрание сочинений И. С. Шмелева, включившее в себя и его незавершенные произведения, опубликована значительная часть эпистолярного наследия. Некоторые из новых для постсоветского читателя произведений были многократно переизданы («История любовная» и «Няня из Москвы» даже вышли в «Роман-газете»), делались попытки включить некоторые тексты И. С. Шмелева в школьную программу. Однако глубокое изучение этого неподражаемого мастера русского сказа и знатока народной речи и быта до сих пор в значительной мере ограничено анализом его конкретных текстов либо обособленным рассмотрением некоторых сторон его творчества. Литературное наследие Шмелева, русское до самых сокровенных глубин, закономерно играет важную роль при воссоздании национальной картины мира. Наконец, при рассмотрении различных модификаций русского реализма двадцатого столетия неоднократно поднимается вопрос о своеобразии художественного метода писателя (работы А. М. Любоумдрова и Т. Т. Давыдовой). Однако, повторимся, обобщающих работ о И. С. Шмелеве удручающе мало. Книга Т. А. Махновец – одна из первых в этом направлении.

Уже в самом начале своей монографии исследовательница четко оговаривает стоящие перед нею задачи, в которые не входят ни создание биографии писателя или очерка его творчества в целом, ни рассмотрение его

художественной эволюции. Внимание ученого посвящено произведениям, принципиально более поздним, нежели «Солнце мертвых» (из них оставлен в стороне другой известнейший роман писателя – «Лето Господне»). Ориентир выбран безошибочно. Ужаснувшая читающий мир крымская эпопея И. С. Шмелева осталась трагическим памятником мировоззренческого кризиса, перенесенного писателем. Вместе с гибелью Российской империи прекратил свое литературное существование гуманный и прекраснодушный дореволюционный Шмелев, инстинктивно демократичный, умеренно либеральный по своим политическим взглядам, ничего не приобретший взамен утраченной детской веры в Бога. (Свои тогдашние религиозные убеждения писатель позднее охарактеризовал словом «никакой».) Автобиографичный повествователь «Солнца мертвых» экзистенциально одинок и низвержен на самое дно отчаяния. Небо над вымирающей от голода крымской землей кажется ему равнодушным к всеобщим страданиям и «пустым», и никакого воскресения мертвых уже не чает он в мире, где царит смерть-небытие. Но вечно оставаться в этой пустыне отчаяния живая душа писателя Шмелева, конечно, не может, и основой нового художественного мира в его зарубежном творчестве становится православие, возвращение к вере отцов, восставшей из горнила личных и национальных испытаний и потерь. Важнейшие концепты этого по-своему цельного и гармоничного мира стали основным предметом рассмотрения в книге Т. А. Махновец.

Изучение православного кода русской классики, ставшее уже традиционным в последние два десятилетия для отечественного литературоведения, открыло новые глубины в, казалось бы, хорошо изученных творениях Пушкина, Гоголя, Достоевского, даже Лермонтова (работы иеромонаха Нестора).

Немаловажен этот подход и в оценке русской литературы «безбожного» XX в. Однако художественный феномен И. С. Шмелева уникален (в литературе русского Зарубежья с ним может быть сопоставлено лишь столь же неповторимое творческое наследие Б. К. Зайцева). В его произведениях мы не найдем изящных стилизаций духовных текстов или сложных конструкций неомифологических романов. Не характерны для этого писателя и вдумчивые и бережные пересказы житий или биографий церковных деятелей, которых немало у Б. К. Зайцева. Но именно Православие обусловило важнейшие нравственные и эстетические координаты художественного мира Шмелева, стало его альфой и омегой. Язык народной веры для писателя не экзотика, мастерски описываемая сторонним наблюдателем (что так заметно в бунинской оценке достоинств его прелестной «Аглаи»), но язык духовной родины, воспринятый вместе с молоком матери. Мир зарубежной прозы И. С. Шмелева – бесконечно прекрасный и живой Божий мир, в котором людям чередой даруются радости и скорби, земные странствия определены «путями небесными», а чудо составляет естественную и неизменную часть повседневного человеческого существования. «Жизнь», «родное» и «чудо» – три основные составляющие концептосферы произведений писателя, безошибочно выделенные и вдумчиво проанализированные в специальной главе книги Т. А. Махновец.

Описание и анализ подобного художественного феномена – сложная и ответственная задача. Решение ее требует от исследователя множества разнообразных знаний и навыков, а главное, адекватно воспринятым такой феномен может быть только «изнутри». Автор рассматриваемой работы всем указанным требованиям удовлетворяет. Т. А. Махновец не только проявляет себя мастером анализа художественного текста – и небольшого рассказа и многопланового «духовного романа», умело используя при этом данные других, смежных с литературоведением, филологических дисциплин. Исследовательница уверенно чувствует себя и в мире православной мысли – от творений отцов Восточной церкви до трудов русских религиозных философов и богословов XX в. Более того, проделанный ею анализ обнаруживает неразрывную и кровную связь творчества Шмелева с многовековым насле-

дием книжности Древней Руси, известным автору монографии не понаслышке. Отсюда поражающие своей глубиной и точностью древнерусские параллели к произведениям Шмелева – краткое, но стимулирующее дальнейшие размышления сопоставление «Путей небесных» с Повестью о Петре и Февронии или более развернутое сравнение нравственного фона «Няни из Москвы» с повестями Смутного времени.

Следует остановиться и на тех немногочисленных моментах работы, которые вызывают сомнения или требуют уточнения. Убедительно показав гармоничность и умиротворенность художественного мира прозы Шмелева, исследовательница полемизирует с теми, кто склонен преувеличивать известный тезис о пресловутой «широте» и противоречивости русской души. По ее мнению, прославление русской «безмерности» началось с произведений писателей Серебряного века. Такое преувеличение кажется Махновец возможным обоснованием выбора западного пути развития России. На наш взгляд, указанное своеобразие национального характера должно скорее отвратить вдумчивых реформаторов от механического копирования чужих моделей. Кроме того, пресловутая русская «безмерность» – не миф Серебряного века, но объективная реальность, и первыми с ней столкнулись именно мыслители, склонные к идеализации «народа-богоносца» – славянофилы и почвенники. О непредсказуемости «крестьянского Сфинкса» и пугающей широте его духовных потенциалов писали И. С. Аксаков («При вести о грядущем освобождении крестьян») и А. Н. Майков («Странник»), а Ф. М. Достоевский в знаменитом очерке «Влас» назвал кающегося «великого грешника» едва ли не основным типом национального характера. Последующая литературная традиция увидела в этом своеобразном «мифе о великом грешнике» некую нравственную парадигму народной души. То, каким актуальным оказался этот «миф» для героев Шмелева, ощутивших личную вину в постигшей Россию катастрофе, прекрасно показала сама Т. А. Махновец. Несомненно, гармоничный мир Шмелева уходит корнями в умиротворенную тихость древнерусской святости, символом которой может служить безмолвная беседа ангелов рублевской «Троицы». Но даже этот высочайший взлет духовности

(Д. С. Лихачев связывал его с отечественным Предвозрождением) религиозные потребности русского духа отнюдь не исчерпывал. Показательно, что практически параллельно ему складывается и крепнет таинственный феномен православного юродства, в основе которого лежит «поругание миру» – дисгармония и парадокс. (Мысль заимствована нами из отзыва Б. К. Зайцева на книгу Г. П. Федотова «Святые Древней Руси».) Для истории русского религиозного сознания Василий Блаженный, Иван Грозный и протопоп Аввакум – фигуры не менее показательные, нежели кроткий Сергей Радонежский.

Другое наше замечание или, скорее, некоторые соображения связаны с анализом романа «История любовная». Верная поставленная ею задача – выяснению этических координат зарубежного творчества И. С. Шмелева и, в частности, его «онтологии зла», исследовательница кладет ее в основу рассмотрения и этого произведения. В «Истории любовной» традиционно видели мастерское изображение юношеского смятения чувств. Драматизм и подчас трагизм первой любви входящего в жизнь человека, столкновение в ней поэзии и пошлости, «чистоты» и «грязи», духа и плоти – одна из традиционных тем мировой и отечественной литературы. Но едва ли какое из предшествующих произведений на эту тему обладает такой концентрацией литературных аллюзий, как роман «История любовная». Захваченный волной первого чувства и открывшимися в нем самым творческими возможностями, юный герой Шмелева отдается на волю собственной фантазии, и Т. А. Махновец тонко и точно обозначает трагические последствия этого. Пылкость юного чувства, выраженная в безудержных, как бы продиктованных кем-то извне любовных письмах, становится проводником библейского «греха». Неопытный герой, с подкупающей искренностью пишущий о не испытываемых им порывах чувственности, обманывается сам и вводит в непреодолимый соблазн объект своей страсти, куда более искушенный в теневых сторонах жизни. Этот любовный дурман едва не губит героя и духовно и телесно, перейдя в смертельную мозговую болезнь, исцелит от которой лишь жертвенная любовь Паши и инспирированное ею «чудо». Да, в самоотравлении фантазией виноват не только

герой, но и доверчиво принятые им далеко не лучшие образцы любовной литературы. Но и в новом, преображенном выздоровлением от смертельной болезни, «живом» мире литература составляет важную часть. «Милый Пушкин», к которому влюбленный герой в начале романа обращал наивную молитву, остается одним из ярчайших выражений «живой жизни». «История любовная», начатая прямым упоминанием «Первой любви», завершается шмелевской версией «Дворянского гнезда», да и ухаживающий за выздоравливающим Тоней естественный и человечный мужик Степан явно напоминает функционально сходный персонаж толстовской «Смерти Ивана Ильича». «Вставная новелла» об увиденном по соседству кровосмесительном любовном треугольнике – шмелевский пересказ двух слитых воедино горьковских рассказов – «На плотях» и «Птичий грех». Примеры такого рода, показывающие сложные отношения «литературы» и «действительности» в романе, можно было бы продолжать. Нам кажется очевидной связь этого с описанным А. М. Панченко историко-культурным феноменом «мирской святости», когда в русском общественном сознании Нового времени пустующее «свято место» заполняют поэты. Думается, что «мирская святость» находит свой уголок не только в сердце наивного Тони, но и в душе его взрослого, глубоко и традиционно верующего автора.

Наше последнее замечание касается предложенного Т. А. Махновец определения художественного метода И. С. Шмелева – «онтологический реализм». В данном случае смущает некоторая некорректность использования термина, заимствованного из арсенала другой науки.

В целом книга Т. А. Махновец представляется ценным вкладом не только в изучение одного из мастеров русской литературы XX в., но и удачным творческим примером использования православного кода при изучении отечественной словесности.

М. Н. Климова
канд. филол. наук,
главный редактор Научной библиотеки
Томского государственного университета